

Александр Грин

Ночлег



Александр Грин

Ночлег

«Public Domain»

1909

Грин А. С.

Ночлег / А. С. Грин — «Public Domain», 1909

Он чужой на этом размеренном празднике жизни! © FantLab.ru

Содержание

I	5
II	6
III	8

Александр Степанович Грин

Ночлег

I

Завидуя всем и каждому, Глазунов тоскливо шатался по бульвару, присаживался, нехотя выкуривал папиросу и делал надменное лицо каждый раз, когда гуляющие окидывали глазами его сильно изношенную тужурку.

Воскресная музыка играла румынский марш. Хороводы губернских барышень плыли мимо ярко освещенных киосков, где, кроме лимонада и теплой сельтерской, можно было купить пряников, засиженных мухами, и деревянную улыбку торговки. Отцы, обремененные многочисленными семействами, выставили напоказ запятнанные чесунчевые жилеты; гордо постукивая тросточками, изгибались телеграфисты, пара-другая взъерошенных студентов волочила за собой низеньких черноволосых девиц.

Вечер еще не охватил землю, но его мягкое, дремотное прикосновение трогало лицо Глазунова умирающей теплотой дня и сыростью глубоких аллей. Небо тускнело. Безличная грусть музыки покрывала шарканье ног, смех и говор. Иногда стройные, полногрудые девушки с косами до пояса и деревенским загаром щек бередили унылую душу Глазунова веянием беззаветной жизни; он долго смотрел им вслед, чему-то и кому-то завидуя; доставал новую папиросу и ожесточенно тянул скверный дым, тупо улавливая сознанием отрывки фраз, шелест юбок и свои собственные, похожие на зубную боль, мысли о будущем.

Так просидел он до наступления темноты, с чувством все возрастающего голода, жалости к своему большому исхудавшему телу и зависти. Жизнь как бы олицетворилась для него в этом гулянье. Глупо-торжественное, румяное лицо воскресенья торчало перед ним, довольное незатейливым весельем и сытым днем, а он, человек без определенных занятий, старательно прикидывался гуляющим, как и все, довольным и сытым. Никто не обращал на него внимания, но так было всю жизнь, и теперь, когда хотелось понуриться, вздыхая на весь сад, привычное лицемерие заставляло его держаться прямо, снисходительно опустив углы губ. Публика прибывала, сплошная масса ее тяжело двигалась мимо скамеек, задевая колени Глазунова ногами и зонтиками.

Он встал, бережно ощупал последний пятиалтынный и в то же мгновение увидел стойку буфета, блюда с закусками, влажные рюмки и вереницу жующих ртов. Глазунов сморщился: тратить пятиалтынный ему не хотелось, но, полный озлобленного протеста против всех и себя самого, дрожащего над бесполезной изменить будущее монетой, бессознательно ускорил шаги, соображая, что «все равно».

«Я съем пирожок, – думал он, – пирожок стоит пять копеек, еще останется десять. И... и... съем еще пирожок... а может быть, выпить одну рюмку? Какая, в сущности, польза от того, что завтра я буду в состоянии купить булку, когда нет ни чая, ни сахара? Все равно уж».

II

Оставшись без копейки, Глазунов почувствовал облегчение. Пятиалтынный целые сутки жег его карман, это была какая-то стыдливая надежда, тягостная мечта о деньгах, грустный упрек желудка, твердившего Глазунову: «Я пуст, а ведь есть еще пятнадцать копеек!» Теперь маленький жалкий Рубикон был позади, в выручке ресторана. Нежная теплота водки оживляла мускулы, вялые от усталости и тоски. Вкус пирожков щекотал челюсти. Глазунов пил мало, рюмка воодушевляла его. Он шел свободнее, смотрел добрее. Ночлега у него не было. Проплавленная ночь, проведенная у знакомых, – с кислыми извинениями за грязную простыню, с натянутой вежливостью хозяйки и угрюмым лицом хозяина – вызывала в нем темную боль обиды. Он бесился, вспоминая себя – болезненно напрягавшего слух, чтобы уловить хоть слово из сердитого гула голосов за перегородкой, отделявшей хозяйскую спальню; ему казалось, что бранят непременно его, назойливого неудачника, стесняющего других. Это было единственное пристанище, куда его пустили бы и сегодня, но идти было тяжело. Оставались углы бульвара, собачий холод рассвета, сырость мха.

Но прежде, чем решиться променять унижение на покров неба, он подумал о репетиции и медленно повернул с аллеи в хвойную тьму. Шум стих, в отдалении кружился чуть слышный темп вальса; ритмичное «там-там» турецкого барабана неотступно преследовало Глазунова. Он брел, погружая стоптанные ботинки в скользкую от росы траву, ветви низкорослой рябины стегали его, тонко скулили невидимые комары, обжигая мгновенным зудом руки и шею, жуткая чернота манила идти дальше, в самую глубину, и этот, днем так хорошо знакомый пригородный парк теперь казался бесконечным и неизвестным.

«Вот тут лечь, – подумал Глазунов, удалившись от аллеи шагов на тридцать, – тут разве под утро будет холодно, а то ничего». Ему сделалось беспокойно весело: одиночество лесного ночлега отталкивало его комнатную душу, но таило в себе, несмотря на все, особую, острую привлекательность новизны. К тому же другого выхода не было. Он бросился в траву, перевернулся, вытянулся во весь рост. Было просторно, сыро и мягко. Нечто похожее на шушуканье раздалось сзади, но Глазунов не обратил на это никакого внимания. Он встал, встряхнулся и легонько свистнул, как бы говоря этим: «Вот я какой, ну-те!» Кто-то прыснул от сдержанного смеха и так близко, что Глазунов вздрогнул. В то же мгновение сотни, тысячи рук схватили его со всех сторон, теребя платье, бока, плечи; цепкие пальцы впились в локти, и странно испуганный Глазунов не успел открыть рот, как тьма наполнилась голосами, кричавшими на все лады:

– Петенька! Петя, сюда! К нам, к нам! Петунчик, не робей! Петушок!

– Пойдите, – пресекшимся голосом вскрикнул раздражаемый на части Глазунов, – я ведь!..

Взрыв женского хохота был ему ответом. Его щипали, толкали, тянули во все стороны; невидимые теплые пальцы щекотали ладонь. Слева уверяли, что прятаться грешно и преступно; справа твердили, что Петеньку надо выдрать за уши, а сзади – просили достать спички, чтобы посмотреть на его, Петенькину, физиономию. Остальные кричали наперебой:

– Петька дрянь! Петрушка-ватрушка! Петя блондин! Тащите Петю в аллею! Петя?

– Пойдите же, – заголосил Глазунов, покрывая своим криком девичий гвалт, – вы ошиблись, честное слово. Я – Глазунов! Простите, пожалуйста, но я не Петя, честное слово!

Дерганье прекратилось. Наступила такая глубокая тишина, что одно мгновение Глазунову все это показалось небывшим. Сердце отчаянно билось, он глупо улыбался, силясь рассмотреть тьму. Сконфуженный шепот и глухой смех раздалась где-то сбоку.

– Он Глазунов! – прыснул дискант. – Люба! Он не Петя! – насмешливо подхватила другая. – Он, может быть, Ваня! Это Глазунов! – хихикнула третья.

– Извините, господин Глазунов! – Пожалуйста, извините! – Будьте добры! – До свидания, господин Глазунов! – А ведь сзади точь-в-точь Петя! – А спереди – ни дать ни взять – Глазунов!

Звонкий хохот сопровождал последнее замечание. В темноте затрещало, последние шаги девушек стихли, Глазунов стоял, как окаменелый, взволнованный смешной передрягой и безжалостными щипками. Потом машинально, как будто возле него еще оставался кто-то, зажег спичку и осмотрелся.

Мрак отступил за ближайшие стволы, нижняя часть ветвей и смятая трава зеленели в тусклой дрожи случайного освещения – неподвижно, сонно, как лицо спящего. Белое пятно привлекло внимание Глазунова. Он нагнулся и поднял маленький измятый платок. Спичка погасла.

III

– А ведь я маху дал, – сказал Глазунов, прислушиваясь. – Вообще вел себя нелепо. Надо было полегче. Познакомиться, что ли... Петя – Петей, а я мог бы пошататься с этим выводком...

Он чувствовал себя усталым и грустным. Уверенность, что барышни были хорошенькие и молодые, наполнила его глухой неприязнью к «Пете». Глазунов довольно отчетливо представил его себе: плотный, ясноглазый парень в чистеньком пиджачке и фуражке с кокардой. У него прямые, светлые волосы, румяный загар, слегка вздернутый веснушчатый нос и непоколебимая самоуверенность. Начальник любит его за аккуратность и деловитость, товарищи за покладистость и веселый характер. Барышни от него в восторге.

– А и черт с ним! – пробормотал Глазунов, – я неудачник, голодный рот, может быть, сохну под забором или сопьюсь, но все же я – не идиот Петя, не это машинное мясо, не этот будущий брюхан – Петя!

В глубокой задумчивости, сжимая чужой платок, Глазунов стоял в темноте, и ему до слез было жаль себя, унылого человека, без куска хлеба, без завтрашнего дня и приюта. Образ Пети преследовал его. Петя – начальник станции, Петя – инженер, Петя – капитан, Петя – купец. Неисчислимое количество Петей сидело на всех крошечных престолах земли, а Глазуновы скрывались в темноте и злобствовали. И хотя Глазуновы были умнее, тоньше и возвышеннее, чем Пети, последние успевали везде. У них были деньги, почет и женщины. Жизнь бросалась на Глазуновых, тормошила их, кричала им в уши, а они стояли беспомощные, растерянные, без капли уверенности и силы. Неуклюже отмахиваясь, они твердили: «Я не Петя, честное слово! Я Глазунов!» И тусклая вереница дней взвилась перед Глазуновым, бесчисленное количество раз отражая его нужду, болезненность и тоску. Он слабо усмехнулся, вспомнив репетицию лесного ночлега: здесь, как и всегда, он шел по линии наименьшего сопротивления. Кислое отвращение поднялось в нем: с ненавистью к музыке, к «Пете», к носовому платку, с болезненно-сладкой жадой чужого, хотя бы позднего сожаления, Глазунов, еще не веря себе, нащупал ближайший сук, снял пояс и привязал его, путаясь в темноте пальцами, вплотную к коре. Посторонний человек, секретарь казенной палаты, пробираясь ближайшим путем в другую сторону, слышал на этом месте только шум собственных шагов. Тишина была полная.